РОМАН

ДВОРНИК



АНАТОЛИЙ САМОДУМСКИЙ

Анатолий Самодумский
Дворник

https://litres.ru/74874424
SelfPub; 2026

Аннотация

У Леры было всё. Деньги, дорогие вещи, красивая жизнь. А потом всё пошло не по плану.

И уж точно она не собиралась влюбляться в дворника.

Особенно в такого. Он дерзит, не извиняется, совершенно не впечатляется её деньгами и однажды заявляет, что её машина слишком медленная.

Леру это бесит. Но почему-то именно его она начинает искать глазами каждое утро.

Его зовут Макс. Он знает, как поставить её на место, умеет молчать в самые нужные моменты и почти ничего не рассказывает о себе.

Только вот у каждого человека есть тайны. И некоторые способны перевернуть всю жизнь.

Роман о любви, которая началась с охапки осенних листьев. И о том, как легко ошибиться, решив, что знаешь человека.

Содержание

Об использовании искусственного интеллекта 4
Глава первая. Медленная 5
Глава вторая. Ты женат? 29
Конец ознакомительного фрагмента. 30

Дворник

Об использовании искусственного интеллекта

При работе над романом использовались инструменты искусственного интеллекта. История основана на авторском сериале «Дворник» и прошла несколько этапов переработки и редактирования, в том числе вручную.

Глава первая. Медленная

Утро было отличное, пока мне на капот не прилетела охапка листьев.

Ладно. Отличным оно не было. Но листья его добили.

Я теперь просыпаюсь в шесть. Раньше в шесть я ложилась — и это было правильно, потому что всё интересное в жизни происходит между полуночью и шестью, а всё неинтересное — после. Теперь я открываю глаза, когда за окном ещё серо, и лежу. Смотрю в потолок — белый, ровный и дорогой, как всё в этом доме. В комнате, которую папа называет моей.

Ни к чему не придраться. А очень хочется.

Комната большая, светлая, с окном во всю стену, с кроватью, на которой можно лежать поперёк, с гардеробной, куда влезло всё, что я привезла в сентябре в двенадцати коробках. Всё новое. Всё выбрано дизайнером, которого нашёл папа, и всё выбрано так, чтобы ничего не напоминать. Ни одной вещи из детства, ни одной фотографии, ни одной царапины. Я как-то сказала папе, что живу в номере дорогой гостиницы. Он подумал и спросил, какой гостиницы, — чтобы, видимо, сравнить цены.

В телефон до восьми я не смотрю. Там всё равно ничего хорошего, я проверяла.

Я живу у папы недавно. Временно — так говорят все, кто в двадцать шесть лет переезжает к папе. До сентября у меня

была квартира в центре, с видом на реку и с человеком, который в ней жил вместе со мной. Потом человека не стало — не в том смысле, жив он, жив, у него всё отлично, — а квартира без него оказалась слишком большой и слишком на виду. Я и переехала сюда, за город, в лес, где меня никто не видит.

Папин дом стоит в закрытом посёлке, в двадцати пяти километрах от кольцевой. Дома здесь соревнуются, кто меньше похож на дом: стекло в пол, светлый камень, дерево вертикальными досками, крыши плоские, как столешницы. Заборы выше человеческого роста. Соседей здесь никто не знает в лицо — по-моему, за это тут и платят такие деньги.

В Москве меня теперь знают слишком многие.

Не так, как мне хотелось бы. Я умею войти в зал так, что разговоры на секунду стихают, у меня лучшие платья в любой компании — а знают меня по тридцати секундам в одном ресторане. Я эти тридцать секунд ни разу не смотрела — мне пересказали. Там нечего смотреть. Там я объясняю человеку, что он сделал не так. Громко, да. Я всегда говорю громко: людям, с которыми я говорю, обычно очень нужно меня расслышать. Просто в тот раз меня расслышали все, у кого был телефон.

Ну и пусть. Я не обязана объяснять каждому, кто пялится на меня на парковке, что там было до и что после.

* * *

В восемь я спустилась вниз.

На лестнице домработница протирала перила. Она увидела меня, выпрямилась и сказала:

— Доброе утро.

Я прошла мимо. Не из вредности — я не здороваюсь с перилами. Она работает у папы четыре года, приходит три раза в неделю и гладит его рубашки так, что они стоят сами. Как её зовут, я не знала. Четыре года мне это было не нужно. По-моему, если тебе нужно знать имя человека, который протирает перила, значит, он плохо протирает перила.

Снобизмом это называют те, кто не умеет считать. Люди делятся на тех, кто платит, и тех, кому платят, и одни ничем не хуже других — просто сидят на разных местах. Моё место у окна, и я в этом не виновата.

Я рассчитывала, что папы уже нет: по будням он уезжает в семь, и это единственное в нашей семье, что работает как часы.

Папа был на кухне.

Кухня у него тёмно-зелёная, с латунными ручками и дубовым столом длиной с небольшую яхту. Во всю стену — окно в сад; за окном облетали берёзы. Листья падали на газон по одному, медленно, и газон был уже жёлтый, в пятнах, как старая скатерть. Папа сидел во главе стола, в своём крес-

ле с подлокотниками, перед белой чашкой чёрного кофе, с планшетом в руках. В костюме — тёмно-синем, хорошем, в таком едут на что-то важное. Сидеть в нём на кухне в восемь утра было странно.

Планшет он держал экраном к себе. Он всегда так держит, даже когда там погода.

— Доброе утро, — сказал папа, не поднимая глаз.

— Угу.

Тогда он их поднял. Посмотрел на меня поверх планшета — у него для этого есть особый взгляд, ещё с родительских собраний. Я в этом взгляде прожила всё детство: им меня встречали после школы, после выпускного, после первой разбитой машины. Злости в нём нет, одно ожидание: папа всю жизнь ждёт, что я что-нибудь скажу, и никак не дождётся.

— Доброе утро, Лера.

— Доброе, доброе.

Я налила себе кофе и осталась стоять. Если сесть — это уже завтрак, а завтрак — это уже разговор.

— Спишь нормально?

— Нормально.

Это неправда. Но папе не обязательно знать правду, у него от правды давление. Я сплю с трёх до шести, если повезёт. С трёх — потому что до трёх у меня в голове крутится стиральная машина: одно и то же, одно и то же, на отжиме. А в три она выключается сама — кончилась программа, — и я

проваливаюсь, ненадолго, до серого окна.

— Куда собралась?

— В город.

— Зачем?

— Пап. Мне двадцать шесть лет.

— Я помню. Я там был.

Он у меня так шутит. Примерно раз в месяц, по расписанию.

— Во сколько выезжаешь?

— Сейчас. Кофе допью — и поеду.

Он что-то набрал на планшете. Двумя пальцами — папа печатает так, будто давит муравьёв.

— А тебе-то что? — не выдержала я.

— Машина моя.

Машина правда папина. Это такая формальность, о которой он вспоминает, когда хочет выиграть спор. Квартира в центре тоже была папина. Платье, которое висит в салоне на манекене без головы, — тоже, если подумать. У меня вообще нет ничего, о чём папа не мог бы сказать «моё». Я к этому привыкла, как привыкают к росту или к цвету глаз, и, честно говоря, мне так удобно. Унизительно — это когда у тебя своё, но мало.

— Деньги на карте есть?

— Пап.

— Есть, значит.

Папа вообще всё решает деньгами. Не в плохом смысле —

просто он так умеет. Сломалось — купим новое. Грустно — купим что-нибудь, от чего не грустно. Если бы можно было купить мне новое настроение, он бы купил: оптом, с доставкой и сборкой. По-моему, он искренне не понимает, почему до сих пор этого не сделал. Я, если честно, тоже.

С сентября мы с папой разговариваем, как соседи в лифте: вежливо и до нужного этажа.

— Езжай аккуратнее, — сказал он. — Дорога в листьях.

— Пап, я восемь лет за рулём.

Он кивнул — так кивают, когда не согласны, но спорить не будут.

Я поставила чашку в раковину. Посудомойка у нас есть, но раковина ближе, а главное, дальше это уже не моя забота. Для этого есть женщина на лестнице. Ей за это платят.

— Лера.

Я обернулась. У папы было лицо человека, который набрал воздуха, чтобы что-то сказать.

— Что?

Он подержал этот воздух. И выпустил.

— Ничего. Езжай.

Папа иногда так делает: набирает воздуха и передумывает. Я давно перестала ждать, что он передумает обратно. В сентябре он так набирал воздух раз пять в день. Потом реже. Потом я переехала к нему, и он, кажется, решил, что раз я рядом, то и говорить не обязательно: всё и так видно.

Ничего ему не видно. Я на этом стою.

* * *

Машина стояла во дворе — белая, огромная, единственная блестящая вещь на всей нашей улице. У соседей всё матовое и приглушённое — стесняются, наверное. Я не стесняюсь. Каждое утро я немного её разглядываю, как другие разглядывают себя в зеркале. На светофоре в ней сидишь выше всех, дверь достаточно прикрыть — дальше она дотягивает сама, с тихим щелчком, а внутри до сих пор пахнет новой кожей. Папина, да. Но езжу на ней я.

На мне всё было серое: тёмно-серый пуховик, серый свитер, тёмные джинсы — под настроение. И белые кроссовки — под машину.

Я уже взялась за ручку двери, когда зазвонил телефон. Номер незнакомый. Восемь двадцать семь утра.

— Да.

— Доброе утро! Это салон, по поводу примерки. Я говорю с невестой?

— Нет.

— Ой… Простите. А с кем я говорю?

— С Лерой.

— Лера, здравствуйте! У вас сегодня финальная примерка на двенадцать, мы хотели подтвердить…

— Девушка, вы время видели?

— Простите, пожалуйста, у нас с утра обзвон, мы…

— Я не приеду.

— Хорошо, давайте перенесём, у нас есть окно в пятницу…

— Не надо в пятницу.

— Тогда, может…

— Отменяйте. — Получилось громче, чем надо. Во дворе слушать было некому, так что какая разница. — Всё отменяйте. И не звоните мне больше.

Я нажала отбой и ещё секунду смотрела на экран, как будто он мог передо мной извиниться.

Голос у девушки был такой, каким разговаривают люди, которые всю жизнь извиняются. Мягкий, виноватый заранее, с извинениями в каждой второй фразе. Я таких не выношу. Если ты звонишь человеку в восемь двадцать семь утра, звони как человек, который имеет право. А не имеешь — не звони. Она, наверное, сейчас сидит у себя в салоне, среди белых платьев, и пересказывает подружке, какая я. Ну и пусть. Пусть знает, какая.

Платье я выбирала три месяца. Белое, с открытыми плечами, со шлейфом, который надо нести двумя руками, — я представляла, как его понесут. Оно висит сейчас где-то в центре на манекене без головы, оплаченное до последней пуговицы. Отменять его должна была я. Я не отменяла. Мне казалось: если не отменять, то, может быть, его и не надо будет отменять. Это глупо. Я знаю.

Пусть висит. За него заплачено.

Я села в машину и минуту просто посидела. Внутри у неё чёрная кожа и тишина, как в футляре для дорогих часов. Я люблю эту тишину. В ней никто ничего от меня не хочет. Потом нажала на пульт.

Ворота у папы откатные. Едут вбок — медленно, с достоинством, будто им за это не доплачивают. Восемь тридцать одна; я запомнила, потому что смотрела на часы и злилась на ворота.

В щели между створкой и столбом сначала появилась улица: асфальт, бордюр, сухие жёлтые листья вдоль бордюра. Утро было ясное, с лёгкой дымкой, солнце низкое — из тех, что светят, но не греют. Потом показалась берёза у соседского забора. На берёзе висел скворечник — новый, светлый, некрашеный. Раньше его не было. Кто вешает скворечники в октябре? Скворцы улетели. Я бы, во всяком случае, улетела. У меня, между прочим, на октябрь были билеты — на остров, где океан цвета бирюзы и где никто не знает, кто ты. Свадебное путешествие. Его я тоже не отменяла.

Потом показался он.

Дворников я обычно не замечаю. Их вообще не замечаешь, пока они не сделают что-нибудь не так, — по-моему, в этом и состоит их работа: чтобы их не замечали. Дворник — часть пейзажа, вроде фонаря или урны. Фонари не здороваются, и мне это в них нравится. Нашего, правда, я узнаю: пожилой, седой, в оранжевом жилете, он всегда здоровается со мной первым, и я всегда ему киваю. Кивок — это максимум,

что можно дать человеку, который каждое утро желает тебе доброго утра, не дожидаясь, пока ты его об этом попросишь.

Этот был не наш. Молодой, высокий, весь в чёрном. Он стоял на нашем въезде, опершись на метлу, и ничего не делал. Дворники так умеют, я замечала: стоять с метлой так, будто это тоже работа.

А когда ворота поехали, он вдруг взялся за метлу как следует. Включился.

Я выкатилась на въезд. Он сделал один широкий взмах — красивый, надо признать, взмах, — и охапка сухих жёлтых листьев взлетела и легла мне на капот.

Прямо мне. Прямо на капот.

Я затормозила.

Стекло — удобная вещь. Его можно опустить ровно настолько, насколько человек заслуживает. Этому я опустила до половины.

— Ты охренел?

Сказала я это нормальным голосом. Почти нормальным.

Он мёл дальше. Спокойно, ровно, с таким видом, будто меня нет, а есть только листья. В ушах у него были наушники — белые, с проводом; провод уходил куда-то в карман. С проводом. Кто вообще ещё носит с проводом? Это как прийти в ресторан в спортивном костюме: формально можно, но лучше бы ты остался дома.

Я опустила стекло до конца.

— Эй!

Он вынул наушник. Правый. Один. Левый, видимо, был занят чем-то поважнее меня.

— Мне?

Голос у него был низкий и ровный — как у навигатора, который говорит «через двести метров поверните направо»: спокойно и без вариантов.

— Нет, машине. Конечно, тебе! — Я ткнула пальцем в капот. — Аккуратнее можно?

— Могу.

И стоит.

Могу — и стоит. Я спросила, можно ли аккуратнее, — он сообщил, что можно, и остался стоять с лицом человека, который честно ответил на вопрос и свою часть разговора выполнил.

Я решила, что он тупой. Это была первая моя ошибка насчёт него.

— Ну так убери.

Он подошёл и снял с капота лист. Один. Двумя пальцами в перчатке, как пинцетом. Остальные лежали, как лежали, — штук сорок, жёлтые, сухие, наглые.

— Ещё один.

— Он вам мешает?

Он спросил это без всякой издёвки. Вот что было хуже всего — без всякой. Ему, кажется, правда было интересно, какой именно лист мне мешает.

До этой секунды лист мне не мешал. Я его даже не видела,

как не видела ничего на этой улице. Но теперь дело было в принципе. Если человеку, который убирает за тобой, позволить спрашивать, мешает ли тебе мусор, — завтра он спросит, мешает ли тебе он сам.

— Теперь — да.

Он снял второй лист, отступил на шаг и улыбнулся — одними глазами. Так улыбаются взрослые, когда ребёнок очень серьёзно объясняет им, как устроен мир.

Тут я и вышла из машины.

Зачем? Сидя разговаривать с ним было неудобно. Он смотрел на меня сверху вниз, а это вообще-то моя работа.

Снаружи пахло сухими листьями и первым холодом. Тот самый запах, от которого в детстве хотелось в школу, а сейчас — никуда.

Пока я шла, он вынул второй наушник. Оба повисли у него на груди, белые, на проводе, как у школьника. Ну хоть так.

Вблизи он оказался выше, чем из машины. Ненамного выше меня — но так, что смотреть на него всё равно приходилось снизу, а я этого не люблю. Тёмные густые волосы, давно не стриженные — или стриженные так, чтобы казалось, что давно; это, между прочим, дорогая стрижка. Щетина. На правой скуле маленький шрам — из тех, про которые хочется спросить, но неловко. Глаза карие и спокойные, очень спокойные: такого, похоже, ничем не удивишь, а меня — тем более.

Форма на нём была чёрная, с серыми вставками на плечах и светоотражающими полосами, и чистая — без единого пятнышка. Сидела она на нём хорошо. Подозрительно хорошо. Её явно шили по нему.

Я в одежде разбираюсь. Это, наверное, единственное, в чём я разбираюсь по-настоящему. Я могу с трёх метров сказать, сколько стоит пальто, сколько раз его чистили и врёт ли человек, что купил его в Милане. Форма у него была неправильная. Слишком хорошая для дворника. Я тогда решила, что их теперь одевают по новому госзаказу. Мне было неинтересно.

— Ты новенький?

— Да.

— Оно и видно.

Он не обиделся. Он, кажется, вообще не умел обижаться — или не считал нужным. Новенькие всегда стараются, особенно там, где стараться не надо. Засыпать листьями первую же машину — это, видимо, и есть старание.

Я встала у машины так, чтобы она была у меня за спиной, — как задник.

— Нравится?

Про машину спрашивают все. Она того стоит: на неё оборачиваются на заправках. На меня, кстати, тоже — когда я рядом с ней.

Он посмотрел на машину. Недолго, секунду.

— Цвет хороший.

Цвет. Из всего, что в ней есть, — а в ней есть всё, — он выбрал цвет. Ладно. Цвет правда хороший.

— Хочешь такую?

— Нет.

Сразу. Ни секунды не подумав. Люди, которые не хотят такую машину, обычно хотя бы делают вид, что подумали. Это такая вежливость бедных: сначала посмотреть, вздохнуть и только потом отказаться. Он не вздохнул.

— Почему?

— Медленная.

Я засмеялась.

Громко, по-настоящему — так я, наверное, не смеялась с сентября. Человек с метлой — про мою машину! Он сказал это, как говорят о погоде: не споря и не хвастаясь, просто сообщил.

Медленная. Смешно. У меня последнее время и так всё медленное: утро, дорога до города, папа, я сама. Быстрой оставалась одна машина. А теперь, выходит, и она — нет.

— Медленная, — повторила я вслух. — А ты на чём ездишь, интересно? На метле?

— Сегодня — пешком.

— Пешком. Ну конечно. Это многое объясняет.

Я сунула руку в карман пуховика и достала купюру. Сто долларов. Мельче у меня не было — у меня никогда не бывает мельче, я не знаю, где люди их берут. И потом, я папина дочка: когда не знаю, что сказать, я плачу.

— Держи.

— За что?

— За листья.

За какие — за те, что насыпал, или за те два, что убрал, — пусть решает сам. Это тебе урок, дорогой: вот сколько стоит твоё «могу». Положи в карман, к своему проводу, и вечером, когда будешь считать, на что хватит, вспомни, от кого.

А он смотрел мимо купюры — на меня. Вот этого я не люблю: когда тебе дают деньги, смотреть надо на деньги.

— Бери, — сказала я. — Пригодятся.

Он взял — не глядя, так берут листовку у метро, чтобы от тебя отстали. Сто долларов — как листовку.

Спасибо он не сказал. Я подождала. Не сказал.

Из-за поворота показался наш дворник, настоящий: седой ёжик, оранжевый жилет поверх тёмной стёганой куртки, светлые рабочие перчатки. Он тут, наверное, с тех пор, как построили посёлок. А может, посёлок построили вокруг него. Шёл он к нам быстро и улыбался так, будто нашёл на дороге что-то хорошее.

— Максим Андреевич, доброе утро!

Молодой кивнул ему. Коротко — меньше, чем кивнул старик. А старик смотрел на него и сиял — так смотрят на начальство, которое любят. Бывает и такое, я слышала.

— Здрасьте, — сказал старик мне.

Вторым. Со мной он поздоровался вторым, и раньше такого не бывало.

Я кивнула. Даже кивок мне в эту секунду дался с трудом: я стояла посреди собственного въезда, у собственной машины, и меня поставили в очередь за дворником.

Максим. Андреевич.

Дворнику — дворник. По имени-отчеству, как в банке. Полсекунды я это переваривала. Потом поняла: бригадир. У них, наверное, тоже есть начальство — главный по листьям. Вот он и главный. Молодой, а уже главный. Быстро у них.

Я села в машину. Прощаться не стала — с кем? Стекло поехало вверх, и улица снова стала тем, чем ей и положено быть: картинкой за стеклом.

В зеркале они стояли вдвоём, старый и молодой. Старый что-то говорил, молодой смотрел мне вслед и, по-моему, его вообще не слушал, а тот всё равно говорил. Так, наверное, говорят с начальством. Ну я же говорю: бригадир.

* * *

Листья слетали с капота по одному — на каждом повороте, на каждой кочке, как гости, которые уходят не прощаясь. К шлагбауму их осталось штук десять. К трассе — ни одного. Тридцать восемь листьев. Я не считала. Ладно, считала.

Из посёлка я выехала в восемь тридцать девять. Шлагбаум поднялся, охранник в будке приложил два пальца к козырьку. Я не повернула головы. Им за это платят — и за шлагбаум, и за козырёк. Если бы я каждому, кто открывает пере-

до мной шлагбаум, говорила «спасибо», у меня бы к вечеру отсох язык. Да и спасибо говорят за то, что дали даром, а у меня всё оплачено.

В городе у меня на сегодня было запланировано много всего: маникюр в одиннадцать. Остальное время я собиралась просто быть в городе. Там легче делать вид, что ты куда-то едешь.

Я набрала Дашу.

Даша взяла после первого гудка. Она всегда так берёт, за это я её и люблю. Ну, не только за это. Мы дружим со школы — с седьмого класса, когда я пересадила её к себе за парту, потому что её прежняя соседка мне не нравилась. Даша не возражала. Даша вообще редко возражает.

Даша — удобная. Это комплимент, если что. С ней не надо стараться: не надо выбирать слова, наряжаться, придумывать, где встретиться, — она подойдёт куда угодно, как хорошая сумка подходит и к джинсам, и к платью, и к плохому настроению. Она смеётся над моими шутками и помнит, что я всё пью с молоком — и кофе, и чай, хотя я ни разу ей этого не говорила. Мне иногда кажется, что Даша живёт где-то рядом с телефоном и ждёт, когда я позвоню. Что она делает в остальное время, я не знаю. Работает где-то. Что-то платит.

— Ты чего так рано? — Она говорила шёпотом. — Я на работе. У меня через пять минут планёрка.

— Пять минут — это вечность. Слушай.

— Подожди. Ты им позвонила? В салон?

— Они мне сами позвонили. В восемь двадцать семь, Даш.

— И?

— И всё. Слушай. Тут дворник.

Даша помолчала. У неё бывают такие паузы — как будто она что-то пересчитывает.

— Какой дворник?

И я рассказала.

Рассказываю я хорошо. Я вообще рассказываю лучше, чем всё происходит на самом деле.

— …и я ему говорю: ты вообще знаешь, сколько стоит эта машина?

Этого я ему не говорила. Но собиралась.

— А он мне — медленная. Медленная, Даш!

Даша засмеялась. У неё смешной смех — как будто кто-то роняет ложки.

— Подожди. Дворник? Так и сказал?

— Так и сказал. А я ему — сто долларов. За листья.

— Сколько?!

— Сто.

— Долларов?

— Ну не рублей же.

— Лер…

— Что? Мельче не было.

— Мельче не было, — повторила Даша. Как-то странно повторила, я не поняла как.

— А он что?

— Взял. Спасибо даже не сказал.

— А какой он?

— В смысле — какой? Дворник.

— Лер. Какой?

Я подумала.

— Обычный. Высокий. В форме. Спокойный — как будто ему за это доплачивают.

— Симпатичный?

— Даш. Он дворник.

— Это не ответ.

Я обогнала грузовик с трубами. Грузовик мне посигналил. Я не ответила. Грузовики сигналят всем, у кого машина дороже их квартиры, — это у них такая форма зависти.

— …Глаза нормальные, — сказала я.

Даша засмеялась опять — уронила все ложки разом.

— Всё, — сказала я. — У тебя планёрка.

Про планёрку я вспомнила, только когда мне стало неудобно.

— Ага, — сказала Даша. — А потом мне ещё в банк. Платёж этот.

— Какой платёж?

— Ипотечный, Лер. Я тебе говорила.

— А. Ну беги.

Даша всё время что-то кому-то платит. Я не вникаю: у каждого свои хобби. Однажды она пыталась объяснить мне,

что такое ипотека, — с процентами, с годами, с какой-то «досрочкой», — и я честно слушала минуты три, а потом спросила, почему нельзя просто купить. Даша засмеялась тогда, как будто я пошутила. Я не шутила.

— Ты у меня золото, Даш. Всегда при мне.

Даша помолчала. Опять — как будто пересчитывала.

— Ага, — сказала она. — Лер. Ты там аккуратнее.

— Я восемь лет за рулём.

— Я не про руль.

И отключилась первой. Даша никогда не отключается первой.

Я посмотрела на телефон с некоторым удивлением — как на собаку, которая вдруг не принесла палку. Потом решила, что у неё правда планёрка. У людей, у которых ипотека, всегда планёрка.

* * *

Маникюр у меня в одном месте уже три года. Маленький салон в переулке у бульваров: белые стены, белые орхидеи, белые кресла, мастерицы в белом, — всё такое белое, что хочется поставить на стол чашку кофе, просто чтобы посмотреть, что будет.

Мастер у меня одна и та же — худенькая, с тихим голосом и с такими уставшими глазами, что, по-моему, она не спала с прошлого года. Я её выбрала за то, что она молчит. Почти

всегда.

— Как ваша свадьба? — спросила она, раскладывая инструменты. — Уже скоро?

Я посмотрела на неё. Она не знала. Она не смотрит видео в интернете, работает с десяти до десяти и помнила только, как в августе я просила её сделать так, чтобы на фотографиях было видно кольцо. Помнила моё кольцо. Наверное, это даже трогательно.

— Вам какая разница?

Она замолчала. Опустила глаза к моим рукам и больше их не поднимала. Они всегда замолкают, если сказать правильно, — это единственное, что в них по-настоящему хорошо.

Она сделала мне маникюр. Нюдовый, как я люблю, ровный, тонкий. Я посмотрела на ногти под лампой и показала на безымянный палец:

— Здесь криво. Переделайте.

Там не было криво. Там была точка — микроскопическая, видная только под лампой и только если искать. Я искала.

Она переделала. Молча. Тихо подула на палец, как дуют на обожжённое.

В соседнем кресле сидела девушка — молоденькая, с наращёнными ресницами, в огромном свитере, сползающем с плеча. Она листала телефон. Потом посмотрела на меня. Потом снова в телефон. Потом опять на меня — внимательно, как сверяют фотографию в паспорте с лицом.

Я знаю этот взгляд. С сентября я его узнаю с трёх метров,

как пальто из Милана.

— Что-то не так? — спросила я.

Девушка покраснела и отвернулась к своей мастерице. Через минуту я услышала, как она шепчет: «Это та, из ресторана». Шепчет — плохо. Я всё слышу. Я всегда всё слышу, когда речь обо мне.

Та, из ресторана. Как будто у меня нет имени и вся я — тридцать секунд, снятые чужой рукой, с кривого угла, с плохим звуком. Начала там нет, а в начале мне испортили белое платье, за которое, между прочим, заплачено.

Я расплатилась и дала мастеру сверху. Много. Столько, сколько не дают за маникюр, — чтобы она поняла, что «вам какая разница» было не со зла. Она взяла деньги, поблагодарила и не подняла глаз.

Видите — деньги работают. Она не обиделась.

* * *

Обратно я ехала долго, кругами, через центр, мимо мест, где меня знали раньше и знают теперь. В тёмных очках, хотя солнце уже ушло. Я думала о платье на манекене, о девушке в соседнем кресле и о том, что надо поменять салон, а может, и город, а может, и всё.

А потом опять — о нём.

Я пыталась понять, кем надо быть, чтобы с такой стрижкой, таким голосом и в такой форме мести наш въезд. Полу-

чалось одно: наказанным. Проштрафился где-нибудь в приличном месте — нахамил кому-нибудь не тому, — и его сослали к нам, на листья. В воспитательных целях. Мне даже стало его немножко жалко. Совсем немножко. На сто долларов.

Ещё я думала, что надо рассказать папе про нового дворника. Пусть позвонит куда следует: листья на машину, наушники с проводом, сто долларов взял, а спасибо не сказал. Папа умеет звонить куда следует — после его звонков люди начинают бегать, а некоторые пропадают навсегда. Потом вспомнила, что мы с папой соседи по лифту, и решила ничего ему не рассказывать.

В зеркале заднего вида были мои глаза. Они улыбались. Я сделала им строгое лицо — насколько глазам вообще можно сделать лицо. Не помогло.

Медленная. Надо же.

* * *

УЛИЦА. 08:36

Белая машина сворачивает за угол. На улице остаются двое — и листья.

Молодой дворник смотрит ей вслед, пока не стихает мотор. Потом вставляет в ухо правый наушник.

Старый стоит рядом, чуть боком.

Молодой протягивает ему купюру.

— Петрович, это тебе.

— За что?

— За листья.

— Какие листья?

Молодой отвечает метлой: одним взмахом отправляет к его сапогам охапку жёлтых листьев.

Старый смотрит на листья. Потом на купюру — поднимает её к свету и смотрит на просвет — внимательно, долго. Складывает вдвое и убирает во внутренний карман, под жилет.

У молодого звонит телефон. Он достаёт его из внутреннего кармана куртки и включает громкую связь. Женский голос, ровный и вежливый:

— Максим Андреевич, доброе утро. Совет директоров — в девять.

— Перенесите на десять.

Он убирает телефон и снова берётся за метлу. Метёт широко и ровно, без лишних движений, и за ним остаётся чистый асфальт.

Старый смотрит ему вслед.

— Чудной мужик.

Глава вторая. Ты женат?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.